

Борис Васильев

Вы чье, старичье?

1

Жизнь Касьяна Нефедовича Глушкова — естественно, в порядке исключения — развивалась не по спирали, а кольцеобразно, и старость аккурат совпала с детством. Не по уму-разуму, а по странному присутствию беспомощной наивности, которая при почтенной седине выглядела вполне замшело. Одним словом, каким бы заветным то слово ни было, человека не выразить. Однако если представить некое сито, сыпать в это сито все особенности, черты и черточки характера да потрясти, то в сите оказалась бы наиболее крупная частица, и применительно к деду Глушкову частица эта определилась бы, пожалуй, так: созерцатель. Мы как-то утратили такое понятие в быстротекущей жизни нашей, а потому хотелось бы напомнить, что Владимир Даль в «Толковом словаре» определяет особенность подобных людей как способность обращать внутрь, в себя, всю деятельность, противопоставляя им эпитеты «дельный», «деловой», «жизненный», «практический» и тому подобные. Касьян Нефедович был вполне жизненным, но отнюдь не

деловым, а тем паче не практическим. Обладая зловещей способностью обращать какую бы то ни было деятельность внутрь самого себя, он не только не думал о том, над чем в данный момент трудятся его руки, но и не знал, куда несут его ноги. Сказать, что при этом он размышлял над чем-то, значило бы возводить на него напраслину: он решительно ни о чем не размышлял — он созерцал. Не разглядывал что-то конкретное, не слушал нечто одному ему ведомое, а всем существом своим воспринимал и увиденное, и услышанное, и ощущаемое. Он впитывал в себя мир целиком, не пытаясь анализировать данность или делать из нее какие-то выводы. Когда работал в колхозе, лошадь шла куда ей заблагорассудится; когда низведен был на должность пастуха, скотина блукала по окрестностям; и даже в армии, в которую был призван в угрюмом сорок втором, не утратил способности впадать в непонятную прострацию при самых жесточайших бомбежках.

— Спишь, Глушков?

А он не спал и не собирався спать: он не мог иначе. Просто не мог, как иные до седых волос не могут удивиться стихам или рассмеяться во все горло. Но поскольку ни он сам, ни какие бы то ни было медицинские светила феномена Касьяна Глушкова объяснить не смогли, началась чехарда, и Глушков за полета трудовых лет сменил несметное

количество профессий, должностей, служб и работ. Упомнить их все было немислимо, никакая трудовая книжка их не вмещала, справок Глушков отродясь нигде не брал, а если давали, то либо терял, либо сами эти справки куда-то девались совсем уж непостижимым образом. И кончилось тем, что по достижении им серьезного возраста последнее его руководство с великим облегчением отправило деда на заслуженный отдых с пенсией, цифра которой полностью отражала всю его служебную деятельность, но в обратной пропорции. Однако Касьяна Нефедовича пропорция эта не смутила и потому, что к деньгам он относился с тем же созерцательным спокойствием, и потому, что был крайне нетребователен к благам житейским, и потому, наконец, что в то время еще имел супругу, а значит, был сыт, одет и обут.

Женщины вообще питали к Глушкову слабость. Они всячески привечали его, жалели и подкармливали без всяких задних мыслей, как жалели бы и привечали ребенка. Инстинктивно чувствуя белизну его души, они безошибочно угадывали в нем и отсутствие целеустремленности, а потому и не пылали страстью. И только его родная и единственная Евдокия Кондратьевна любила его целиком, каков он есть. Она никогда не корила его, не досаждала поучениями, все понимала, все принимала, одна волокла семейный

воз и, в конце концов, надорвалась.

— К Зинке поезжай, — через силу сказала она. — Пропадешь.

А он глядел в ее одутловатое, синюшное лицо, покорно кивал, моргал выцветшими глазками и кулаком утирал слезы. Ему было больно, страшно и пусто, но даже сейчас, слушая последний шепот последнего любящего его человека, он — созерцал. Созерцал смерть во всем ее жутком обличий, а не прощался с той, кого забирала она из его неуютной, нелепой, всеми ветрами продутой жизни.

— Пропадешь...

Таким было прощальное слово Евдокии Кондратьевны, и Касьян Нефедович уловил не смысл его, а — место: последнее, как завет. И согласно завету написал Зинке бестолковое письмо. Писал он его на почте, куда пришел прямехонько с кладбища. Тыкал после каждой буквы ученической ручкой в чернильницу, шмыгал носом и очень боялся, что почтовые девушки, известные своей непреклонностью, обязательно выгонят его, не дав дописать, потому что на часах было уже без десяти шесть, дверь на запоре, а работники — за подсчетом выручки. Поэтому он, шесть раз написав, что «покойная маменька ваша Евдокия Кондратьевна перед смертью кланяться велела», так ни разу и не помянул, что ему-то самому ведено не просто написать Зинке, а перебираться к ней

доживать свой затянувшийся век.

Правда, написал он так не только со спеху, но и потому, что видел эту самую Зинку всего раз в жизни. Пять лет назад, когда его единственный сын Виктор привез ее на показ родителям. Привез вечером, увез утром — вот и все знакомство, и Касьян Нефедович никак не мог вспомнить ее лица. А сын Виктор через полгода после смотрин в непотребном виде попал под грузовик, и осталась одна ниточка между Зинкой и Касьяном Нефедовичем: Славик. Викторов сын и Касьянов внук.

Тут дверь хлопнула, и кто-то за его спиной встал. Дед испугался, что гнать начнут, еще ниже пригнулся и еще тише пером заскрипел. А уютный женский голос сказал:

— Царствие Дусе небесное. Может, ко мне переедешь? Дом большой, а нас трое всего: я, дочка да внучка. А где трое, там и четверо.

Оглянулся Глушков: Анна Семеновна позади, Нюра. Соседка и давняя знакомая: босиком вместе бегали. За дочкой, видно, зашла: дочка у нее на телеграфе работала.

— Вот Зинке пишу. Велела.

— Поезжай, — вздохнула Нюра. — А не уживешься, обо мне вспомни.

— Мать! — крикнули. — Ну чего он там? Закрываем! Написал старик адрес, клей слезами

размазал, опустил письмо в ящик и пошел в опустевший дом, не зная еще, что через десять дней продаст он его на дрова и отправится за четыреста с лишком верст в город, где жили незнакомая Зинка и ни разу не виданный им внучок Славик.

Багаж был невелик: старый чемодан со стариковским нарядом и корзинка с гостинцами. Зинке Касьян Нефедович вез материи на платье да старушечью теплую шаль, которые обнаружил в сундуке под совсем уж никчемным тряпьем, а Славику — зеленого надувного крокодила почти что в натуральную величину. Поверх подарков лежали два десятка сваренных вкрутую яиц и три ощипанные курицы — единственная стариковская живность, зарезанная недрогнувшей рукой вовремя похмелившегося бригадира. Вещи стояли под лавкой, поезд скрежетал и раскачивался, попутчики дремали, а Касьян Нефедович созерцал. Созерцал путешествие, купе жесткого вагона, темноту за окном и собственную жизнь, что катилась сейчас — он чувствовал это — по последнему этапу к последнему прибежищу.

2

...— Касьяшка! Касьяш, за гумнами большака расстреливают!

Рябой мужичонка в драной рубахе и

холщовых подштанниках деловито копал могилу. Земля была сухой, неподатливой, а он рыл и рыл, оглаживая стенки и подбирая со дна осыпавшиеся комья. Ему было жарко и от солнца, и от старательной этой работы, он взмок, и пот темными кругами полз по рубахе от подмышек к костлявому хребту. А перед ним стояли шестеро солдат, что оставили белые при старосте, сам староста, священник отец Поликарп, мужики, бабы да ребятишки — вся деревня, словом. И пекло солнце, и копал большак могилу, и было тихо. А потом большак высунулся из могилы — она по грудь ему была — и спросил:

— Может, хватит?

Молчали солдаты, староста, священник отец Поликарп, мужики, бабы и ребятишки. Вся деревня молчала, потому что никто не знал, хватит или не хватит и сколько вообще земли положено при расстрелянии. И кто должен это решать, тоже еще не знали.

Большак опять покопался, поскреб лопатой, а потом вылез. И сел на свежий бугорок.

— Сильно земля у вас крутая.

Молчала деревня. Большак вытер лицо подолом рубахи, вздохнул:

— Испить ба.

Враз трое молодух из толпы брызнули. Одна — к колодцу, две — по погребам. Пока первая

бадьей гремела, две другие уж из погребов вынырнули, и к большаку все три подошли одновременно: с водой, с молоком и с квасом.

— Спасибо, бабоньки, — сказал он и попил всего понемногу. — Вода у вас вкус имеет. Молочко отстоялося, холодненькое. А квасок-то, квасок — аж душа просветлела. Храни вас Христос, бабоньки.

И опять на землю сел, им же нарытую. Глядел на всех светло-голубыми глазами и виновато улыбался.

— От работы вот отрываю вас. Совестно.

— Обождите, — сказал тут отец Поликарп и шагнул вперед. — Может, никакой ты не большевик, а? Отвечай как на духу.

— Нет, батюшка, я есть большевик, хоть нигде и не записанный. Я слова товарища Ленина народу передаю и так считаю, что землю надо сызнава поделить. Поровну. По едокам, конечно.

— Агитация, — строго сказал староста. — Таких стрелять ведено.

— Велено — значит, надо сполнять, — согласился большак. — Где встать-то мне?

— Да погоди ты! — закричал отец Поликарп. — Может, миру покаешься?

— Покайся! — загудели мужики. — А мы постегаем для порядку. Покайся, а? Сделай милость божескую, не вводи во грех.

— Спасибо, мужики, на добром слове, — улыбнулся большак и поклонился миру в пояс. — Только не могу я против совести. Надо бы все наделы по едокам обратно переделить. Поровну. Чтоб всем жизни по ровному ломтю отпущено было, чтоб у ребятишек животы с голодухи не пучило и чтоб бабы наши не старились бы к тридцати своим годкам.

Так сказал большак, и все бабы тихо заплакали, аккуратненько собирая слезы в концы головных платков.

— Агитировашь — значит, застрелить тебя придется, — вздохнул староста. — Вот морока! Может, самогоночки примешь для облегчения?

— Не могу, ты уж не серчай, — вежливо отказался большак. — У меня с ее голова по утрам болит.

— Так не будет же утра-то! — закричал тут староста. — Не будет, не будет!..

Помолчал большак. Потом улыбнулся, и глаза его светло-голубые тоже улыбнулись. С ним вместе.

— Будет, — сказал. — Обязательно даже будет. Это меня вы застрелите, а утро — нет. Не застрелишь утра-то, мужики вы мои родные! Хоть из тыщи ружей в него стреляй — не застрелишь...

...Может, так, а может, и не так убивали

первого большевика в жизни Касьяна Глушкова. Он ведь и тогда не смотрел, а — созерцал и помнил не детали, а ощущения. И ощущений этих было два: большевик смерти не боялся, а Россия казнить не умела.

А поезд летел сквозь ночь и ветер с громом и скрипом, как летела когда-то сорвавшаяся с корней своих сама Россия на перегоне от станции Вчера до станции Завтра. И не было света ни за окном, ни в вагонах, и не было тепла ни там, ни тут, и уже не было прошлого, и еще не виделось будущее. И только вера в это будущее светила людям и согревала их.

3

— Двадцать два с полтиной — и вся пенсия? — тихо спросила Зинка.

Оказалась она узловатой и безулыбчивой: таких и хмельные мужики за три улицы обходят. Смотрела тускло и так, будто все кругом ее загодя ненавидели, а говорила почти что без голоса. От этого безголосья Касьян Нефедович ежился пуще, чем от ухватов, по опыту зная, что за бабьим тишком такой скрывается грохот, крик и несуразица, какие и штрафная рота не натворит.

— И вся пенсия? — спросила.

Дед Глушков готов был провалиться сквозь

все недра земли. Он привык считать, что пенсия — это так, вроде подарка под конец жизни, а цену подарка не спрашивают. Но тут спросили, тихо спросили, и Касьян Нефедович сразу почувствовал себя виноватым и в пенсии, и в одиночестве, и в сиротстве, и в том, что до сей поры не улегся еще на погосте. И сказал:

— Колхозная она.

— Так и колхозникам увеличивали, читала я.

— Оно конечно, увеличивали. Только колхозу-то боле нету. Он теперь — ферма при совхозе. А совхоз — другого района. А район...

— Ладно, — отрезала. — На кефир хватит. Кефир, он старичкам полезный.

Обрадовался Глушков: кефир так кефир, только б не выгнала. Засуетился, чего-то про район рассказывать принялся, но Зинка сразу ушла к соседям, и пришлось вместо рассказа надуть Славику крокодила. Полкомнаты зверюга заняла.

— Вот и спи на нем, — сказала Зинка, отревевшись у соседей.

Пугала, правда. Время пришло, и тюфячок на пол постелила и подушку с одеялом дала. Свернулся дед в углу за столом, накрылся с головой и храпанул в свое удовольствие, пока Зинка ногой не ткнула.

— Выгоню. Захрапишь еще — сразу выгоню.

С той поры пришлось Касьяну Нефедовичу со

страхом спать вместо храпа. Однако и тут приспособился: при первом звуке своем просыпаться выучился раньше Зинки и глушить звук подушкой. И все пошло гладко, и все пошло мирно; под горку пошло вместе с последними годочками. До одного субботнего вечера и разговора с Зинкой и соседом Арнольдом Ермиловичем. Этот Арнольд Ермилович вместе с женой занимал меньшую комнату в их двухкомнатной квартире и ожидал прибавления в семействе. Он работал на ремонтном заводе, где и Зинка, но имел образование и стремление к справедливости.

— Подсобницей в магазин предлагают, — сказала Зинка. — Деньги заработаю, квартиру кооперативную куплю — так и замуж возьмут.

Дед играл с крокодиллом и Славиком, когда Зинка вошла с соседом. Сосед курил и пока молчал, а зачем пришел — было непонятно.

— Хорошее дело, — сказал Касьян Нефедович.

— Шестьсот рублей просят за оформление.

Глушков молчал, хотя уже что-то почувствовал. Неладное что-то.

— Без денег магазин не оформит, дураков теперь нету, — продолжала Зинка. — А мне замуж надо.

— Замуж — дело справедливое, — поддержал

сосед. — Пока молода.

— Шестьсот рублей, — вздохнула Зинка. — Нельзя такое место упускать, я с него через год кооператив куплю.

Дед понимал, что жмут они на него, но не понимал зачем. Отродясь он таких денег и в глаза не видывал и считал после сотни сразу «много».

— Так где же? Нету же.

— Есть, — тихо не согласился Арнольд Ермилович и ногтем сбросил пепел с сигареты. — Есть у вас, товарищ Глушков, такие деньги.

— Так как? — растерялся Касьян Нефедович. — Так нету ведь.

— Есть, — повторил сосед. — Вам как фронтовику пенсия положена, а вы ее не оформляли. Вот оформите — и деньги выплатят по полной справедливости.

— Так по справедливости я и не должен, — забормотал дед, для убедительности прижимая к тощей груди сухонький кулачок. — По справедливости я же в обозе, я же и стрелять-то не стрелял, и в меня разве что бомбы да если из пушек. Это же тем положено, кто кровь свою отдавал, которые с врагом сражались, когда я пшеничный концентрат возил. Это же им...

— Все, — уронила Зинка. — Готовь бумаги, сама тебя в военкомат отведу. Там разберутся, что тебе положено.